



**МАКСИМ**

**ГОРЬКИЙ**

*ТОЛСТОЙ. ЧЕХОВ.  
ЛЕНИН*

*Книги, изменившие мир.  
Писатели, объединившие  
поколения.*

р у с с к а я      к л а с с и к а

Эксклюзив: Русская классика

Максим Горький  
**Толстой. Чехов. Ленин**

«Public Domain»

1930

УДК 821.161.1-94  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Горький М.**

Толстой. Чехов. Ленин / М. Горький — «Public Domain»,  
1930 — (Эксклюзив: Русская классика)

ISBN 978-5-17-114313-8

«Мысль, которая, заметно, чаще других точит его сердце, – мысль о Боге» – такова ключевая идея самого известного и замечательного из литературных портретов Горького – мемуаров о Льве Толстом. Но что же в общении с великим писателем заставило автора прийти к другому, весьма неожиданному выводу: «С Богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения «двух медведей в одной берлоге»? Горький, в котором литературный талант всегда сочетался с острой наблюдательностью прирожденного журналиста, постарался проникнуть за маски публичного образа гениального русского писателя. В сборник также вошли воспоминания о Чехове, Ленине и других знаменитых современниках, оставивших яркий след в отечественной истории и культуре.

УДК 821.161.1-94  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-114313-8

© Горький М., 1930  
© Public Domain, 1930

# Содержание

Лев Толстой	6
Заметки	6
Письмо	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

# **Максим Горький Толстой. Чехов. Ленин**

© ООО «Издательство АСТ», 2019

## Лев Толстой

*Эта книжка составила из отрывочных заметок, которые я писал, живя в Олеше, когда Лев Николаевич жил в Гаспре, сначала тяжело больной, потом одолев болезнь. Я считал эти заметки, небрежно написанные на разных клочках бумаги, потерянными, но недавно нашел часть их. Затем сюда входит неоконченное письмо, которое я писал под впечатлением «ухода» Льва Николаевича из Ясной Поляны и смерти его. Печатаю письмо, не исправляя в нем ни слова, таким, как оно было написано тогда. И не доканчиваю его, этого почему-то нельзя сделать.*  
**М. Горький.**

## Заметки

### I

Мысль, которая, заметно, чаще других точит его сердце, – мысль о боге. Иногда кажется, что это и не мысль, а напряженное сопротивление чему-то, что он чувствует над собою. Он говорит об этом меньше, чем хотел бы, но думает всегда. Едва ли это признак старости, предчувствие смерти, нет, я думаю, это у него от прекрасной человеческой гордости. И – немножко от обиды, потому что, будучи Львом Толстым, оскорбительно подчинить свою волю какому-то стрептококку. Если бы он был естествоиспытателем, он, конечно, создал бы гениальные гипотезы, совершил бы великие открытия.

### II

У него удивительные руки – некрасивые, узловатые от расширенных вен и все-таки исполненные особой выразительности и творческой силы. Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. Такими руками можно делать все. Иногда, разговаривая, он шевелит пальцами, постепенно сжимает их в кулак, потом вдруг раскроет его и одновременно произнесет хорошее, полновесное слово. Он похож на бога, не на Саваофа или олимпийца, а на эдакого русского бога, который «сидит на кленовом престоле под золотой липой» и хотя не очень величествен, но, может быть, хитрей всех других богов.

### III

К Сулержицкому он относится с нежностью женщины. Чехова любит отечески, в этой любви чувствуется гордость создателя, а Сулер вызывает у него именно нежность, постоянный интерес и восхищение, которое, кажется, никогда не утомляет колдуна. Пожалуй, в этом чувстве есть нечто немножко смешное, как любовь старой девы к попугаю, моське, коту. Сулер – какая-то восхитительно вольная птица чужой, неведомой страны. Сотня таких людей, как он, могли бы изменить и лицо и душу какого-нибудь провинциального города. Лицо его они разобьют, а душу наполнят страстью к буйному, талантливому озорству. Любить Сулера легко и весело, и когда я вижу, как небрежно относятся к нему женщины, они удивляют и злят меня. Впрочем, за этой небрежностью, может быть, ловко скрывается осторожность. Сулер – ненадежен. Что он сделает завтра? Может быть, бросит бомбу, а может – уйдет в хор трактирных

песенников. Энергии в нем – на три века. Огня жизни так много, что он, кажется, и потеет искрами, как перегретое железо.

Но однажды он крепко рассердился на Сулера, – склонный к анархизму Леопольд часто и горячо рассуждал о свободе личности, а Л. Н. всегда в этих случаях подтрунивал над ним.

Помню, Сулержицкий достал откуда-то тощенькую брошюрку князя Кропоткина, воспламенился ею и целый день рассказывал всем о мудрости анархизма, сокрушительно философствуя.

Ах, Левушка, перестань, надоед, – с досадой сказал Л. Н. – Твердишь, как попугай, одно слово – свобода, свобода, а где, в чем его смысл? Ведь, если ты достигнешь свободы в твоём смысле, как ты воображаешь, что будет? В философском смысле – бездонная пустота, а в жизни, в практике – станешь ты лентяем, побирохой. Что тебя, свободного в твоём-то смысле, свяжет с жизнью, с людьми? Вот – птицы свободны, а все-таки гнезда выют. Ты же и гнезда вить не станешь, удовлетворяя половое чувство твое где попало, как кобель. Подумай серьезно и увидишь – почувствуешь, что в конечном смысле свобода – пустота, безграничие.

Сердито нахмурился, помолчал минуту и добавил потише:

– Христос был свободен, Будда – тоже, и оба приняли на себя грехи мира, добровольно пошли в плен земной жизни. И дальше этого – никто не ушел, никто. А ты, а мы – ну, что там! Мы все ищем свободы от обязанностей к ближнему, тогда как чувствование именно этих обязанностей сделало нас людьми, и не будь этих чувствований – жили бы мы, как звери...

Усмехнулся:

– А теперь мы все-таки рассуждаем, как надо жить лучше. Толку от этого не много, но уже и не мало. Ты вот споришь со мной и сердись до того, что нос у тебя синее, а не бьешь меня, даже не ругаешь. Если же ты действительно чувствовал бы себя свободным, так укокошил бы меня – только и всего.

И, снова помолчав, добавил:

– Свобода – это когда все и все согласны со мной, но тогда я не существую, потому что все мы ощущаем себя только в столкновениях, противоречиях.

#### IV

Гольденвейзер играл Шопена, что вызывало у Льва Николаевича такие мысли:

– Какой-то маленький немецкий царек сказал: «Там, где хотят иметь рабов, надо как можно больше сочинять музыки». Это – верная мысль, верное наблюдение, – музыка притупляет ум. Лучше всех это понимают католики, – наши попы, конечно, не помирятся с Мендельсоном в церкви. Один тульский поп уверял меня, что даже Христос не был евреем, хотя он сын еврейского бога и мать у него еврейка; это он признавал, а все-таки говорит: «Не могло этого быть». Я спрашиваю: «Но как же тогда?» Пожал плечами и сказал: «Сие для меня тайна!»

#### V

«Интеллигент – это галицкий князь Владимирко; он еще в XII веке говорил «предерзко»: «В наше время чудес не бывает». С той поры прошло шестьсот лет, и все интеллигенты долбят друг другу: «Нет чудес, нет чудес». А весь народ верит в чудеса так же, как верил в XII веке».

#### VI

«Меньшинство нуждается в боге потому, что все остальное у него есть, а большинство потому – что ничего не имеет».

Я бы сказал иначе: большинство верит в бога по малодушию, и только немногие – от полноты души<sup>1</sup>.

– Вы любите сказки Андерсена? – спросил он задумчиво. – Я не понимал их, когда они были напечатаны в переводах Марко Вовчка, а лет десять спустя взял книжку, прочитал и вдруг с такой ясностью почувствовал, что Андерсен был очень одинок. Очень. Я не знаю его жизни; кажется, он жил беспутно, много путешествовал, но это только подтверждает мое чувство, – он был одинок. Именно потому он обращался к детям, хотя это ошибочно, будто дети жалеют человека больше взрослых. Дети ничего не жалеют, они не умеют жалеть.

## VII

Советовал мне прочитать буддийский катехизис. О буддизме и Христе он говорит всегда сентиментально; о Христе особенно плохо – ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его и ни единой искры сердечного огня. Думаю, что он считает Христа наивным, достойным сожаления, и хотя – иногда – любит его, но – едва ли любит. И как будто опасается: приди Христос в русскую деревню – его девки засмеют.

## VIII

Сегодня там был великий князь Николай Михайлович, человек, видимо, умный. Держится очень скромно, малоречив. У него симпатичные глаза и красивая фигура. Спокойные жесты. Л. Н. ласково улыбался ему и говорил то по-французски, то по-английски. По-русски сказал:

– Карамзин писал для царя, Соловьев – длинно и скучно, а Ключевский для своего развлечения. Хитрый: читаешь – будто хвалит, а вникнешь – обругал.

Кто-то напомнил о Забелине.

– Очень милый. Подьячий такой. Старьевщик-любитель, собирает все, что нужно и не нужно. Еду описывает так, точно сам никогда не ел досыта. Но – очень, очень забавный.

## IX

Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю, проходя тысячи верст от монастыря к монастырю, от мощей к мощам, до ужаса бесприютные и чужие всем и всему. Мир – не для них, бог – тоже. Они молятся ему по привычке, а в тайне душевной ненавидят его: зачем гоняет по земле из конца в конец, зачем? Люди – пеньки, корни, камни по дороге, – о них спотыкаешься и порою от них чувствуешь боль. Можно обойтись и без них, но иногда приятно поразить человека своею непохожестью на него, показать свое несогласие с ним.

## X

«Фридрих Прусский очень хорошо сказал: «Каждый должен спасаться *à sa façon*»<sup>2</sup>. Он же говорил: «Рассуждайте, как хотите, только слушайтесь». Но, умирая, сознался: «Я устал управлять рабами». Так называемые великие люди всегда страшно противоречивы. Это им проща-

---

<sup>1</sup> Во избежание кривотолков должен сказать, что религиозное творчество я рассматриваю как художественное; жизнь Будды, Христа, Магомета – как фантастические романы. (Примеч. М. Горького.)

<sup>2</sup> По-своему (франц.).



ется вместе со всякой другой глупостью. Хотя противоречие – не глупость: дурак – упрям, но противоречить не умеет. Да – Фридрих странный был человек: заслужил славу лучшего государя у немцев, а терпеть не мог их, даже Гете и Виланда не любил...»

## XI

– Романтизм – это от страха взглянуть правде в глаза, – сказал он вчера вечером по поводу стихов Бальмонта. Сулер не согласился с ним и, шепелявя от возбуждения, очень патетически прочел еще стихи.

– Это, Левушка, не стихи, а шарлатанство, а «ерундистика», как говорили в средние века, – бессмысленное плетение слов. Поэзия – безыскусственна; когда Фет писал:

... не знаю сам, что буду  
Петь, но только песня зреет, —

этим он выразил настоящее, народное чувство поэзии. Мужик тоже не знает, что он поет, – ох, да-ой, да-эй – а выходит настоящая песня, прямо из души, как у птицы. Эти ваши новые все выдумывают. Есть такие глупости французские «артикле де Пари», так вот это они самые у твоих стихоплетов. Некрасов тоже сплошь выдумывал свои стишочки.

– А Беранже? – спросил Сулер.

– Беранже – это другое! Что же общего между нами и французами? Они – чувственники; жизнь духа для них не так важна, как плоть. Для француза прежде всего – женщина. Они – изношенный, истрепанный народ. Доктора говорят, что все чахоточные – чувственники.

Сулер начал спорить с прямоотой, свойственной ему, неразборчиво выбрасывая множество слов. Л. Н. поглядел на него и сказал, улыбаясь широко:

– Ты сегодня капризничаешь, как барышня, которой пора замуж, а жениха нет...

## XII

Болезнь еще подсушила его, выжгла в нем что-то, он и внутренне стал как бы легче, прозрачней, жизнеприемлемее. Глаза – еще острее, взгляд – пронзающий. Слушает внимательно и словно вспоминает забытое или уверенно ждет нового, неизвестного еще. В Ясной он казался мне человеком, которому все известно и больше нечего знать, – человеком решенных вопросов.

## XIII

Если бы он был рыбой, то плавал бы, конечно, только в океане, никогда не заплывая во внутренние моря, а особенно – в пресные воды рек. Здесь вокруг него ютится, шмыгает какая-то плотва; то, что он говорит, не интересно, не нужно ей, и молчание его не пугает ее, не трогает. А молчит он внушительно и умело, как настоящий отшельник мира сего. Хотя и много он говорит на свои обязательные темы, но чувствует, что молчит еще больше. Иного – никому нельзя сказать. У него, наверное, есть мысли, которых он боится.

## XIV

Кто-то прислал ему превосходный вариант сказки о Христовом крестнике. Он с наслаждением читал сказку Сулеру, Чехову, – читал изумительно! Особенно забавлялся тем, как

черти мучают помещиков, и в этом что-то не понравилось мне. Он не может быть неискренним, но если это искренно, тогда еще хуже.

Потом он сказал:

– Вот как хорошо сочиняют мужики. Все просто, слов мало, а чувства – много. Настоящая мудрость немногословна, как – господи помилуй.

А сказочка – свирепая.

## XV

Его интерес ко мне – этнографический интерес. Я, в его глазах, особь племени, мало знакомого ему, и – только.

## XVI

Читал ему свой рассказ «Бык»; он очень смеялся и хвалил за то, что знаю «фокусы языка».

Но распоряжаетесь вы словами неумело, – все мужики говорят у вас очень умно. В жизни они говорят глупо, несуразно, – не сразу поймешь, что он хочет сказать. Это делается нарочно, – под глупостью слов у них всегда спрятано желание дать выговориться другому. Хороший мужик никогда сразу не покажет своего ума, это ему невыгодно. Он знает, что к человеку глупому подходят просто, бесхитростно, а ему того и надо! Вы перед ним стоите открыто, он тотчас и видит все ваши слабые места. Он недоверчив, он и жене боится сказать заветную мысль. А у вас – все нараспашку, и в каждом рассказе какой-то вселенский собор умников. И все афоризмами говорят, это тоже неверно, – афоризм русскому языку не сроден.

– А пословицы, поговорки?

– Это – другое. Это не сегодня сделано.

– Однако вы сами часто говорите афоризмами.

– Никогда! Потом вы прикрашиваете все: и людей и природу, особенно – людей! Так делал Лесков, писатель вычурный, вздорный, его уже давно не читают. Не поддавайтесь никому, никого не бойтесь, – тогда будет хорошо...

## XVII

В тетрадке дневника, которую он дал мне читать, меня поразил странный афоризм: «Бог есть мое желание».

Сегодня, возвратив тетрадь, я спросил его – что это?

– Незаконченная мысль, – сказал он, глядя на страницу прищуренными глазами, – Должно быть, я хотел сказать: бог есть мое желание познать его... Нет, не то... – Засмеялся и, свернув тетрадку трубкой, сунул ее в широкий карман своей кофты. С богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения «двух медведей в одной берлоге».

## XVIII

О науке.

«Наука – слиток золота, приготовленный шарлатаном-алхимиком. Вы хотите упростить ее, сделать понятной всему народу, – значит: начеканить множество фальшивой монеты. Когда народ станет понятна истинная ценность этой монеты – не поблагодарит он нас».

## XIX

Гуляли в Юсуповском парке. Он великолепно рассказывал о нравах московской аристократии. Большая русская баба работала на клумбе, согнувшись под прямым углом, обнажив слоновые ноги, потряхивая десятифунтовыми грудями. Он внимательно посмотрел на нее.

– Вот такими кариатидами и поддерживалось все это великолепие и сумасбродство. Не только работой мужиков и баб, не только оброком, а в чистом смысле кровью народа. Если бы дворянство время от времени не спаривалось с такими вот лошадьми, оно уже давно бы вымерло. Так тратить силы, как тратила их молодежь моего времени, нельзя безнаказанно. Но, перебесившись, многие женились на дворовых девках и давали хороший приплод. Так что и тут спасала мужицкая сила. Она везде на месте. И нужно, чтобы всегда половина рода тратила свою силу на себя, а другая половина растворялась в густой деревенской крови и ее тоже немного растворяла. Это полезно.

## XX

О женщинах он говорит охотно и много, как французский романист, но всегда с тою грубостью русского мужика, которая – раньше – неприятно подавляла меня. Сегодня в Миндальной роше он спросил Чехова:

– Вы сильно распутничали в юности?

А. П. смятенно ухмыльнулся и, подергивая бородку, сказал что-то невнятное, а Л. Н., глядя в море, признался:

– Я был неутомимый...

Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое мужицкое слово. Тут я впервые заметил, что он произнес это слово так просто, как будто не знает достойного, чтобы заменить его. И все подобные слова, исходя из его мохнатых уст, звучат просто, обыкновенно, теряя где-то свою солдатскую грубость и грязь. Вспоминается моя первая встреча с ним, его беседа о «Вареньке Олесовой», «Двадцать шесть и одна». С обычной точки зрения речь его была цепью «неприличных» слов. Я был смущен этим и даже обижен; мне показалось что он не считает меня способным понять другой язык. Теперь понимаю, что обижаться было глупо.

## XXI

Он сидел на каменной скамье под кипарисами, сухонький, маленький, серый и все-таки похожий на Саваофа, который несколько устал и развлекается, пытаясь подсвистывать зяблику. Птица пела в густоте темной зелени, он смотрел туда, прищулив острые глазки, и, по-детски – трубой – сложив губы, насвистывал неумело.

– Как ярится пичужка! Наяривает. Это – какая?

Я рассказал о зяблике и о чувстве ревности, характерном для этой птицы.

– На всю жизнь одна песня, а – ревнив. У человека сотни песен в душе, но его осуждают за ревность – справедливо ли это? – задумчиво и как бы сам себя спросил он. – Есть такие минуты, когда мужчина говорит женщине больше того, что ей следует знать о нем. Он сказал – и забыл, а она помнит. Может быть, ревность – от страха унижить душу, от боязни быть униженным и смешным? Не та баба опасна, которая держит за..., а которая – за душу.

Когда я сказал, что в этом чувствуется противоречие с «Крейцеровой сонатой», он запустил по всей своей бороде сияние улыбки и ответил:

– Я не зяблик.

Вечером, гуляя, он неожиданно произнес:

– Человек переживает землетрясения, эпидемии, ужасы болезней и всякие мучения души, но на все времена для него самой мучительной трагедией была, есть и будет – трагедия спальни.

Говоря это, он улыбался торжественно, – у него является иногда такая широкая, спокойная улыбка человека, который преодолел нечто крайне трудное или которого давно грызла острая боль, и вдруг – нет ее. Каждая мысль вливается в душу его, точно клещ; он или сразу отрывает ее, или же дает ей напиться крови вдоволь, и, назрев, она незаметно отпадает сама.

Увлечательно рассказывая о стоицизме, он вдруг нахмурился, почмокал губами и строго сказал:

– Стеганое, а не стежаное; есть глаголы стегать и стяжать, а глагола стежать нет...

Эта фраза явно не имела никакого отношения к философии стоиков. Заметив, что я недоумеваю, он торопливо произнес, кивнув головой на дверь соседней комнаты:

– Они там говорят: стежаное одеяло!

И продолжал:

– А слащавый болтун Ренан...

Нередко он говорил мне:

– Вы хорошо рассказываете – своими словами, крепко, не книжно.

Но почти всегда замечал небрежности речи и говорил вполголоса, как бы для себя:

– Подобно, а рядом – абсолютно, когда можно сказать – совершенно!

Иногда же укорял:

– Хлипкий субъект – разве можно ставить рядом такие несхожие по духу слова? Нехорошо...

Его чуткость к формам речи казалась мне – порою болезненно острой; однажды он сказал:

– У какого-то писателя я встретил в одной фразе кошку и кишку – отвратительно! Меня едва не стошнило.

Иногда он рассуждал:

– Подождем и под дождем – какая связь?

А однажды, придя из парка, сказал:

– Сейчас садовник говорит: насилиу толковался. Не правда ли – странно? Куются якоря, а не столы. Как же связаны эти глаголы – ковать и толковать? Не люблю филологов – они схоласты, но пред ними важная работа по языку. Мы говорим словами, которых не понимаем. Вот, например, как образовались глаголы просить и бросить?..

Чаще всего он говорил о языке Достоевского:

– Он писал безобразно и даже нарочно некрасиво, – я уверен, что нарочно, из кокетства. Он форсил; в «Идиоте» у него написано: «В наглom приставании и афишевании знакомства». Я думаю, он нарочно искажил слово афишировать, потому что оно чужое, западное. Но у него можно найти и непростительные промахи; идиот говорит: «Осел – добрый и полезный человек», но никто не смеется, хотя эти слова неизбежно должны вызвать смех или какое-нибудь замечание. Он говорит это при трех сестрах, а они любили высмеивать его. Особенно Аглая. Эту книгу считают плохой, но главное, что в ней плохо, это то, что князь Мышкин – эпилептик. Будь он здоров – его сердечная наивность, его чистота очень трогали бы нас. Но для того, чтоб написать его здоровым, у Достоевского не хватило храбрости. Да и не любил он здоровых людей. Он был уверен, что если сам он болен – весь мир болен...

Читал Сулеру и мне вариант сцены падения «Отца Сергия» – безжалостная сцена. Сулер надул губы и взволнованно заерзал.

– Ты что? Не нравится? – спросил Л. Н.

– Уж очень жестоко, точно у Достоевского. Эта гнилая девица, и груди у нее, как блины, и все. Почему он не согрешил с женщиной красивой, здоровой?

– Это был бы грех без оправдания, а так – можно оправдаться жалостью к девице – кто ее захочет такую?

– Не понимаю я этого...

– Ты многого не понимаешь, Левушка, ты не хитрый...

Пришла жена Андрея Львовича, разговор оборвался, а когда она и Сулер ушли во флигель, Л. Н. сказал мне:

– Леопольд – самый чистый человек, какого я знаю. Он тоже так: если сделает дурное, то – из жалости к кому-нибудь.

## XXII

Больше всего он говорит о боге, о мужике и о женщине. О литературе – редко и скудно, как будто литература чужое ему дело. К женщине он, на мой взгляд, относится непримиримо враждебно и любит наказывать ее, – если она не Кити и не Наташа Ростова, то есть существо недостаточно ограниченное. Это – вражда мужчины, который не успел исчерпать столько счастья, сколько мог, или вражда духа против «унизительных порывов плоти»? Но это – вражда, и – холодная, как в «Анне Карениной». Об «унизительных порывах плоти» он хорошо говорил в воскресенье, беседуя с Чеховым и Елпатьевским по поводу «Исповеди» Руссо. Сулер записал его слова, а потом, приготавливая кофе, сжег записку на спиртовке. А прошлый раз он спалил суждение Л. Н. об Ибсене и потерял записку о символизме свадебных обрядов, а Л. Н. говорил о них очень языческие вещи, совпадая кое в чем с В. В. Розановым.

## XXIII

Утром были штундисты из Феодосии, и сегодня целый день он с восторгом говорит о мужиках.

За завтраком:

– Пришли они, – оба такие крепкие, плотные; один говорит: «Вот, пришли незваны», а другой – «Бог даст – уйдем не драны». – И залился детским смехом, так и трепещет весь.

После завтрака, на террасе:

– Скоро мы совсем перестанем понимать язык народа; мы вот говорим: «теория прогресса», «роль личности в истории», «эволюция науки», «дизентерия», а мужик скажет: «шила в мешке не утаишь», и все теории, истории, эволюции становятся жалкими, смешными, потому что не понятны и не нужны народу. Но мужик сильнее нас, он живучее, и с нами может случиться, пожалуй, то же, что случилось с племенем атцуров, о котором какому-то ученому сказали: «Все атцуры перемерли, но тут есть попугай, который знает несколько слов их языка».

## XXIV

«Телом женщина искреннее мужчины, а мысли у нее – лживые. Но когда она лжет – она не верит себе, а Руссо лгал – и верил».

## XXV

«Достоевский написал об одном из своих сумасшедших персонажей, что он живет, мстя себе и другим за то, что послужил тому, во что не верил. Это он сам про себя написал, то есть это же он мог бы сказать про самого себя».

## XXVI

– Некоторые церковные слова удивительно темны – какой, например, смысл в словах: «господня земля и исполнения ее». Это – не от священного писания, а какой-то популярно-научный материализм.

– У вас где-то истолкованы эти слова, – сказал Сулер.

– Мало что у меня истолковано... «Толк-то есть, да не втолкан весь».

И улыбнулся хитренько.

## XXVII

Он любит ставить трудные и коварные вопросы:

– Что вы думаете о себе?

– Вы любите вашу жену?

– Как, по-вашему, сын мой Лев – талантливый?

– Вам нравится Софья Андреевна?

Лгать перед ним – нельзя.

Однажды он спросил:

– Вы любите меня, А. М.?

Это – озорство богатыря: такие игры играл в юности своей Васька Буслаев, новгородский озорник. «Испытует» он, все пробует что-то, точно драться собирается. Это интересно, однако – не очень по душе мне. Он – черт, а я еще младенец, и не трогать бы ему меня.

## XXVIII

Может быть, мужик для него просто – дурной запах, он всегда чувствует его и поневоле должен говорить о нем.

Вчера вечером я рассказал ему о моей битве с генеральшей Корнэ, он хохотал до слез, до боли в груди, охал и все покрикивал тоненько:

– Лопатой! По... Лопатой, а? По самой по... И – широкая лопата?

Потом, отдохнув, сказал серьезно:

– Вы еще великодушно ударили, другой бы – по голове стукнул за это. Очень великодушно. Вы понимали, что она хотела вас?

– Не помню; не думаю, чтобы понимал...

– Ну, как же! Это ясно. Конечно, так.

– Не тем жил тогда...

– Чем ни живи – все равно! Вы не очень бабник, как видно. Другой бы сделал на этом карьеру, стал домовладельцем и спился с круга вместе с нею.

Помолчав:

– Смешной вы. Не обижайтесь, – очень смешной! И очень странно, что вы все-таки добрый, имея право быть злым. Да, вы могли бы быть злым. Вы крепкий, это хорошо...

И, еще помолчав, добавил задумчиво:

– Ума вашего я не понимаю – очень запутанный ум, а вот сердце у вас умное... да, сердце умное!

Примечание. Живя в Казани, я поступил дворником и садовником к генеральше Корнэ. Это была француженка, вдова генерала, молодая женщина, толстая, на крошечных ножках девочки-подростка; у нее были удивительно красивые глаза, беспокойные, всегда жадно открытые. Я думаю, что до замужества она была торговкой или кухаркой, быть может, даже «девочкой для радости». С утра она напивалась и выходила на двор или в сад в одной рубашке, в оранжевом халате поверх ее, в красных татарских туфлях из сафьяна, а на голове грива густых волос. Небрежно причесанные, они падали ей на румяные щеки и плечи. Молодая ведьма. Она ходила по саду, напевая французские песенки, смотрела, как я работаю, и время от времени, подходя к окошку кухни, просила:

– Полин, давайте мне что-нибудь.

«Что-нибудь» – всегда было одним и тем же – стаканом вина со льдом...

В нижнем этаже ее дома жили сиротами три барышни княжны Д.-Г., их отец, интендант-генерал, куда-то уехал, мать умерла. Генеральша Корнэ невзлюбила барышень и старалась сжить их с квартиры, делая им различные пакости. По-русски она говорила плохо, но ругалась отлично, как хороший ломовой извозчик. Мне очень не нравилось ее отношение к безобидным барышням, – они были такие грустные, испуганные чем-то, незащитные. Однажды около полудня две из них гуляли в саду, вдруг пришла генеральша, пьяная, как всегда, и начала кричать на них, выгоняя из сада. Они молча пошли, но генеральша встала в калитке, заткнув ее собой, как пробкой, и начала говорить им те серьезные русские слова, от которых даже лошади вздрагивают. Я попросил ее перестать ругаться и пропустить барышень, она закричала:

– Я снай тебе! Ти – им лязит окно, когда ночь...

Я рассердился, взял ее за плечи и отвел от калитки, но она вырвалась, повернулась ко мне лицом и, быстро распахнув халат, подняв рубаху, заорала:

– Я луччи эти крис!

Тогда я окончательно рассердился, повернул ее затылком к себе и ударил лопатой пониже спины, так что она выскочила в калитку и побежала по двору, сказав трижды, с великим изумлением:

– О! О! О!

После этого, взяв паспорт у ее наперсницы Полины, бабы тоже пьяной, но весьма лукавой, – взял под мышку узел имущества моего и пошел со двора, а генеральша, стоя у окна с красным платком в руке, кричала мне:

– Я не звать полис – нитшего – слюший! Иди еще назади... Не надо боясь...

## XXIX

Я спросил его:

– Вы согласны с Познышевым, когда он говорит, что доктора губили и губят тысячи и сотни тысяч людей?

– А вам очень интересно знать это?

– Очень.

– Так я не скажу!

И усмехнулся, играя большими пальцами своих рук.

Помнится, – в одном из его рассказов есть такое сравнение деревенского коновала с доктором медицины:

«Слова «гильчак», «почечуй», «спускать кровь» разве не те же нервы, ревматизмы, организмы и так далее?»

Это сказано после Дженнера, Беринга, Пастера. Вот озорник!

### XXX

Как странно, что он любит играть в карты. Играет серьезно, горячась. И руки у него становятся такие нервные, когда он берет карты, точно он живых птиц держит в пальцах, а не мертвые куски картона.

### XXXI

– Диккенс очень умно сказал: «Нам дана жизнь с неперменным условием храбро защищать ее до последней минуты». Вообще же это был писатель сентиментальный, болтливый и не очень умный. Впрочем, он умел построить роман, как никто, и уж, конечно, лучше Бальзака. Кто-то сказал: «Многие одержимы страстью писать книги, но редкие стыдятся их потом». Бальзак не стыдился, и Диккенс тоже, а оба написали немало плохого. А все-таки Бальзак – гений, то есть то самое, что нельзя назвать иначе, – гений...

Кто-то принес книжку Льва Тихомирова «Почему я перестал быть революционером», – Лев Николаевич взял ее со стола и сказал, помахивая книжкой в воздухе:

– Тут все хорошо сказано о политических убийствах, о том, что эта система борьбы не имеет в себе ясной идеи. Такой идеей, говорит обезумевший убийца, может быть только анархическое всевластие личности и презрение к обществу, человечеству. Это – правильная мысль, но анархическое всевластие – описка, надо было сказать – монархическое. Хорошая, правильная идея, на ней споткнутся все террористы, я говорю о честных. Кто по натуре своей любит убивать – он не споткнется. Ему – не на чем споткнуться. Но он просто убийца, а в террористы попал случайно...

### XXXII

Иногда он бывает самодоволен и нетерпим, как заволжский сектант-начетчик, и это ужасно в нем, столь звучном колоколе мира сего. Вчера он сказал мне:

– Я больше вас мужик и лучше чувствую по-мужицки.

О господи! Не надо ему хвастать этим, не надо!

### XXXIII

Прочитал ему сцены из пьесы «На дне»; он выслушал внимательно, потом спросил:

– Зачем вы пишете это?

Я объяснил как умел.

– Везде у вас замечен петушиный наскок на все.

И еще – вы все хотите закрасить все пазы и трещины своей краской. Помните, у Андерсена сказано: «Позолота-то сотрется, свиная кожа останется», а у нас мужики говорят: «Все минется, одна правда останется». Лучше не замазывать, а то после вам же худо будет. Потом – язык очень бойкий, с фокусами, это не годится. Надо писать проще, народ говорит просто, даже как будто – бессвязно, а – хорошо. Мужик не спросит: «Почему треть больше четверти, если всегда четыре больше трех», как спрашивала одна ученая барышня. Фокусов – не надо.



Он говорил недовольно, видимо ему очень не понравилось прочитанное мною. Помолчав, глядя мимо меня, хмуро сказал:

– Старик у вас – несимпатичный, в доброту его – не веришь. Актер – ничего, хорош. Вы «Плоды просвещения» знаете? У меня там повар похож на вашего актера. Пьесы писать трудно. Проститутка тоже удалась, такие должны быть. Вы видели таких?

– Видел.

– Да, это заметно. Правда даст себя знать везде. Вы очень много говорите от себя, потому – у вас нет характеров и все люди – на одно лицо. Женщин вы, должно быть, не понимаете, они у вас не удаются, ни одна. Не помнишь их...

Пришла жена А. Л. и пригласила к чаю; он встал и пошел так быстро, как будто обрадовался кончить беседу.

### XXXIV

– Какой самый страшный сон видели вы?

Я редко вижу и плохо помню сны, но два сновидения остались в памяти, вероятно, на всю жизнь.

Однажды я видел какое-то золотушное, гниленькое небо, зеленовато-желтого цвета, звезды в нем были круглые, плоские, без лучей, без блеска, подобные болячкам на коже художничка. Между ними по гнилому небу скользила не спеша красноватая молния, очень похожая на змею, и когда она касалась звезды – звезда, тотчас набухая, становилась шаром и лопалась беззвучно, оставляя на своем месте темненькое пятно – точно дымок, – оно быстро исчезало в гнилом, жидком небе. Так, одна за другою, полопались, погби все звезды, небо стало темней, страшней, потом – всклубилось, закипело и, разрываясь в клочья, стало падать на голову мне жидким студнем, а в прорывах между клочьями являлась глянцевиная чернота кровельного железа. Л. Н. сказал:

– Ну, это у вас от ученой книжки, прочитали что-нибудь из астрономии, вот и кошмар. А другой сон?

Другой сон: снежная равнина, гладкая, как лист бумаги, нигде ни холма, ни дерева, ни куста, только чуть видны, высываються из-под снега редкие розги. По снегу мертвой пустыни от горизонта к горизонту стелется желтой полоской едва намеченная дорога, а по дороге медленно шагают серые валяные сапоги – пустые.

Он поднял мохнатые брови лешего, внимательно посмотрел на меня, подумал.

– Это – страшно! Вы в самом деле видели это, не выдумали? Тут тоже есть что-то книжное.

И вдруг как будто рассердился, заговорил недовольно, строго, постукивая пальцем по колену.

– Ведь вы непьющий? И не похоже, чтоб вы пили много когда-нибудь. А в этих снах все-таки есть что-то пьяное. Был немецкий писатель Гофман, у него ломберные столы по улицам бегали, и все в этом роде, так он был пьяница, – «калаголик», как говорят грамотные кучера. Пустые сапоги идут – это вправду страшно! Даже если вы и придумали, – очень хорошо! Страшно!

Неожиданно улыбнулся во всю бороду, так, что даже скулы засияли.

А ведь представьте-ка: вдруг по Тверской бежит ломберный стол, эдакий – с выгнутыми ножками, доски у него прихлопывают и мелом пылят, даже еще цифры на зеленом сукне видать, – это на нем акцизные чиновники трое суток напролет в винт играли, он не вытерпел больше и сбежал.

Посмеялся и, должно быть, заметил, что я несколько огорчен его недоверием ко мне:

– Вы обижаетесь, что сны ваши показались мне книжными? Не обижайтесь, я знаю, что иной раз такое незаметно выдумаешь, что нельзя принять, никак нельзя, и кажется, что во сне видел, а вовсе не сам выдумал. Один старик-помещик рассказывает, что он во сне шел лесом, вышел в степь и видит: в степи два холма, и вдруг они превратились в женские титьки, а между ними приподнимается черное лицо, вместо глаз на нем две луны, как бельма, сам он стоит уже между ног женщины, а перед ним – глубокий черный овраг и – всасывает его. Он после этого сесть начал, руки стали трястись, и уехал за границу к доктору Кнейпу лечиться водой. Этот должен был видеть что-нибудь такое – он был распутник.

Похлопал меня по плечу.

– А вы не пьяница и не распутник – как же это у вас такие сны?

– Не знаю.

– Ничего мы о себе не знаем!

Он вздохнул, прищурился, подумал и добавил потише:

– Ничего не знаем!

Сегодня вечером, на прогулке, он взял меня под руку, говоря:

– Сапоги-то идут – жутко, а? Совсем пустые – теп, теп, – а снежок поскрипывает! Да, хорошо! А все-таки вы очень книжный, очень! Не сердитесь, только это плохо и будет мешать вам.

Едва ли я книжник больше его, а вот он показался мне на этот раз жестоким рационалистом, несмотря на все его оговорочки.

## XXXV

Иногда кажется: он только что пришел откуда-то издалека, где люди иначе думают, чувствуют, иначе относятся друг к другу, даже – не так двигаются и другим языком говорят. Он сидит в углу, усталый, серый, точно запыленный пылью иной земли, и внимательно смотрит на всех глазами чужого и немного.

Вчера, пред обедом, он явился в гостиную именно таким, далеко ушедшим, сел на диван и, помолчав минуту, вдруг сказал, покачиваясь, потирая колени ладонями, сморщив лицо:

– Это еще не все, нет – не все.

Некто, всегда глупый и спокойный, точно утюг, спросил его:

– Это вы о чем?

Он пристально взглянул на него, наклонился ниже, заглядывая на террасу, где сидели доктор Никитин, Елпатьевский, я, и спросил:

– Вы о чем говорите?

– О Плеве.

– О Плеве... Плеве... – задумчиво, с паузой повторил он, как будто впервые слыша это имя, потом встряхнулся, как птица, и сказал, слабо усмехаясь:

– У меня сегодня с утра в голове глупость; кто-то сказал мне, что он прочитал на кладбище такую надпись:

Под камнем сим Иван Егорьев опочил,  
Кожевник ремеслом, он кожи все мочил,  
Трудился праведно, был сердцем добр, но вот  
Скончался, отказав жене своей завод.  
Он был еще не стар и мог бы много смочь.  
Но бог его прибрал для райской жизни в ночь  
С пятницы на субботу страстной недели...

и еще что-то такое же...

Замолчал, потом, покачивая головою, слабо улыбаясь, добавил:

– В человеческой глупости – когда она не злая – есть очень трогательное, даже милое...

Всегда есть...

Позвали обедать.

## XXXVI

«Я не люблю пьяных, но знаю людей, которые, выпив, становятся интересными, приобретают не свойственное им, трезвым, остроумие, красоту мысли, ловкость и богатство слов. Тогда я готов благословлять вино».

Сулер рассказывал: он шел со Львом Николаевичем по Тверской, Толстой издали заметил двух кирасир. Сияя на солнце медью доспехов, звеня шпорами, они шли в ногу, точно срослись оба, лица их тоже сияли самодовольством силы и молодости.

Толстой начал порицать их:

– Какая величественная глупость! Совершенно животные, которых дрессировали палкой...

Но когда кирасиры поравнялись с ним, он остановился и, провожая их ласковым взглядом, с восхищением сказал:

– До чего красивы! Римляне древние, а, Левушка? Силища, красота, – ах, боже мой. Как это хорошо, когда человек красив, как хорошо!

## XXXVII

В жаркий день он обогнал меня на нижней дороге; он ехал верхом в направлении к Ливадии; под ним была маленькая татарская спокойная лошадка. Серый, лохматый, в легонькой белой войлочной шляпе грибом, он был похож на гнома.

Придержав лошадь, он заговорил со мною; я пошел рядом, у стремени, и, между прочим, сказал, что получил письмо от В. Г. Короленко. Толстой сердито тряхнул бородою:

– Он в бога верует?

– Не знаю.

– Главного не знаете. Он – верит, только стыдится сознаться в этом пред атеистами.

Говорил ворчливо, капризно, сердито прищурился. Было ясно, что я мешаю ему, но, когда я хотел уйти, он остановил меня:

– Куда же вы? Я еду тихо.

И снова заворчал:

– Андреев ваш – тоже атеистов стыдится, а тоже в бога верит, и бог ему – страшен.

У границы имения великого князя А. М. Романова, стоя тесно друг ко другу, на дороге беседовали трое Романовых: хозяин Ай-Тодора, Георгий и еще один, – кажется, Петр Николаевич из Дюльбера, – все бравые, крупные люди. Дорога была загорожена дрожками в одну лошадь, поперек ее стоял верховой конь; Льву Николаевичу нельзя было проехать. Он устал на Романовых строгим, требующим взглядом. Но они, еще раньше, отвернулись от него. Верховой конь помялся на месте и отошел немного в сторону, пропуская лошадь Толстого.

Проехав минуты две молча, он сказал:

– Узнали, дураки.

И еще через минуту:

– Лошадь поняла, что надо уступить дорогу Толстому.

## XXXVIII

«Берегите себя прежде всего – для себя, тогда и людям много останется».

## XXXIX

«Что значит – знать? Вот, я знаю, что я – Толстой, писатель, у меня – жена, дети, седые волосы, некрасивое лицо, борода, – все это пишут в паспортах. А о душе в паспортах не пишут, о душе я знаю одно: душа хочет близости к богу. А что такое – бог? То, частица чего есть моя душа. Вот и все. Кто научился размышлять, тому трудно верить, а жить в боге можно только верой. Тертуллиан сказал: «Мысль есть зло»

## XL

Несмотря на однообразие проповеди своей, – безгранично разнообразен этот сказочный человек.

Сегодня, в парке, беседуя с муллой Гаспры, он держал себя, как доверчивый простец-мужичок, для которого пришел час подумать о конце дней. Маленький и как будто нарочно еще более съежившийся, он, рядом с крепким, солидным татаринном, казался старичком, душа которого впервые задумалась над смыслом бытия и – боится ее вопросов, возникших в ней. Удивленно поднимал мохнатые брови и, пугливо мигая остренькими глазками, погасил их нестерпимый, пронизательный огонек. Его читающий взгляд недвижно впился в широкое лицо муллы, и зрачки лишились остроты, смущающей людей. Он ставил мулле «детские» вопросы о смысле жизни, душе и боге, с необыкновенной ловкостью подменяя стихи Корана стихами Евангелия и пророков. В сущности – он играл, делая это с изумительным искусством, доступным только великому артисту и мудрецу.

А несколько дней тому назад, говоря с Танеевым и Сулером о музыке, он восхищался ее красотой, точно ребенок, и было видно, что ему нравится свое восхищение, – точнее: своя способность восхищаться. Говорил, что о музыке всех лучше и глубже писал Шопенгауэр, рассказал, попутно, смешной анекдот о Фете и назвал музыку «немой молитвой души».

– Как же – немая? – спросил Сулер.

– Потому что – без слов. В звуке больше души, чем в мысли. Мысль – это кошелек, в нем пятаки, а звук ничем не загажен, внутренне чист.

С явным наслаждением он говорил милыми, ребячьими словами, вдруг вспомнив лучшие, нежнейшие из них. И, неожиданно, усмекаясь в бороду, сказал мягко, как ласку:

– Все музыканты – глупые люди, а чем талантливее музыкант, тем ограниченнее. Странно, что почти все они религиозны.

## XLI

Чехову, по телефону.

– Сегодня у меня такой хороший день, так радостно душе, что мне хочется, чтоб и вам было радостно. Особенно – вам! Вы очень хороший, очень!

## XLII

Он не слушает и – не верит, когда говорят не то, что нужно. В сущности – он не спрашивает, а допрашивает. Как собиратель редкостей, он берет только то, что не может нарушить гармонию его коллекции.

## XLIII

Разбирая почту.

– Шумят, пишут, а – умру, и – через год будут спрашивать: Толстой? Ах, это граф, который пробовал тачать сапоги и с ним что-то случилось, – да, этот?

## XLIV

Несколько раз я видел на его лице, в его взгляде, хитренькую и довольную усмешку человека, который, неожиданно для себя, нашел нечто спрятанное им. Он спрятал что-то и – забыл: где спрятал? Долгие дни жил в тайной тревоге, все думая: куда же засунул я это, необходимое мне? И – боялся, что люди заметят его тревогу, его утрату, заметят и – сделают ему что-нибудь неприятное, нехорошее. Вдруг – вспомнил, нашел. Весь исполнился радостью, и, уже не заботясь скрыть ее, смотрит на всех хитренько, как бы говоря:

«Ничего вы со мною не сделаете».

Но о том – что нашел и где – молчит.

Удивляться ему – никогда не устаешь, но все-таки трудно видеть его часто, и я бы не мог жить с ним в одном доме, не говоря уже – в одной комнате. Это – как в пустыне, где все сожжено солнцем, а само солнце тоже догорает, угрожая бесконечной темной ночью.

## Письмо

Только что отправил письмо Вам – пришли телеграммы о «бегстве Толстого». И вот, – еще не разъединенный мысленно с Вами, – вновь пишу.

Вероятно, все, что мне хочется сказать по поводу этой новости, скажется запутанно, может быть, даже резко и зло, – уж вы извините меня, – Я чувствую себя так, как будто меня взяли за горло и душат.

Он много раз и подолгу беседовал со мною; когда жил в Крыму, в Гаспре, я часто бывал у него, он тоже охотно посещал меня, я внимательно и любовно читал его книги, – мне кажется, я имею право говорить о нем то, что думаю, пусть это будет дерзко и далеко разойдется с общим отношением к нему. Не хуже других известно мне, что нет человека более достойного имени гения, более сложного, противоречивого и во всем прекрасного, да, да, во всем. Прекрасного в каком-то особом смысле, широком, неуловимом словами; в нем есть нечто, всегда возбуждавшее у меня желание кричать всем и каждому: смотрите, какой удивительный человек живет на земле! Ибо он, так сказать, всеобъемлюще и прежде всего человек, – человек человечества.

Но меня всегда отталкивало от него это упорное, деспотическое стремление превратить жизнь графа Льва Николаевича Толстого в «житие иже во святых отца нашего блаженного боярина Льва». Вы знаете – он давно уже собирался «пострадать»; он высказывал Евгению Соловьеву, Сулеру сожаление о том, что это не удалось ему, – но он хотел пострадать не просто, не из естественного желания проверить упругость своей воли, а с явным и – повторю – деспотическим намерением усилить тяжесть своего учения, сделать проповедь свою неотразимой, освятить ее в глазах людей страданием своим и заставить их принять ее, вы понимаете – заставить! Ибо он знает, что проповедь эта недостаточно убедительна; в его дневнике Вы – со временем – прочтаете хорошие образцы скептицизма, обращенного им на свою проповедь и личность. Он знает, что «мученики и страдальцы редко не бывают деспотами и насильниками», – он все знает! И все-таки говорит: «Пострадай я за свои мысли, они производили бы другое впечатление». Это всегда отбрасывало меня в сторону от него, ибо я не могу не чувствовать здесь попытки насилия надо мной, желания овладеть моей совестью, ослепить ее блеском праведной крови, надеть мне на шею ярмо догмата.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.